

«О страшных вещах надо писать нейтральным и скупым языком»

Интервью с Александром Стесиным



Спросить Александра Стесина хотелось обо всем и сразу. Премию «НОС» (Новая Словесность) за 2019 год получил именно он: нью-йоркский врач-онколог, поэт и писатель. Казалось бы, удивительно, что книга о буднях врача, работающего в разных районах Нью-Йорка, и описывающая специфику каждого из них, полюбилась так многим в России. Однако, ничего странного, потому что это только на поверхностном слое «Нью-Йоркский» обход — очередные записки врача. Рассказы о пациентах и своих коллегах — только канва для рефлексии на вечные вопросы смысла бытия, жизни и смерти.

Александр Стесин эмигрировал с родителями в США одиннадцатилетним ребенком и умудрился не только сохранить прекрасный русский язык, но и писать стихи и прозу исключительно на нем. В отличие от своих великих предшественников, врачей-писателей — Чехова, Булгакова, Вересаева — параллели с которыми любят проводить многие критики, Стесин сначала получил литературное образование, и лишь гораздо позже медицинское.

Он во многом уникальный человек: и в этой своей раздвоенности на врача и писателя, и в том, что как профессионал-онколог, занимающийся сложными вопросами медицины на английском, душу свою изливает исключительно на русском, и в том, что однажды поехал на год врачом-волонтером в Африку, а впоследствии объездил почти весь континент и как специалист, и как путешественник, выучил три африканских языка, переводил африканских писателей и поэтов на русский.

Его «Африканская книга», вышедшая в 2020 году — это настоящая энциклопедия Африки, в которой он собрал все: исторические, филологические, этнографические, антропологические заметки все того же врача-путешественника, посвятив много страниц особенностям национальной кухни каждой из африканских стран и включив в книгу свои переводы африканской прозы и поэзии.

Спросить Александра Стесина хотелось обо всем и сразу: и про работу онкологом, и про Африку, и про то, как эмиграция стала в том раннем возрасте для него эмоциональной травмой, и про русский язык, как единственную связь с покинутой страной детства, и про путешествия, в которые его тянет, в том числе, чтобы снова пережить потерю и найти новую почву для жизни.

И я спросила...

Вы в одиннадцать лет переехали жить в США, и обычно у людей с подобным опытом, если и сохраняется русский язык, то редко на таком уровне, как у вас. Полагаю, это была большая работа по самообразованию, потому что вы ведь не учились в Америке в русских школах, а между тем, прочитали и всю русскую классику, и знакомы с советским и российским кинематографом, не просто прекрасно владеете языком, но и знаете культурные коды. Как это происходило? Вы в одиннадцать лет дали себе установку не забыть язык, следовали какой-то, например, школьной программе по чтению?

Списков я на тот момент себе не составлял, это сейчас у меня есть списки неотложных дел. Никакой обязательной программы не было, но я как-то всегда старался развивать свой русский и много читал. Я думаю, это связано с тем, что в какой-то момент я решил, что буду писать по-русски. А уж коли взялся писать, хорошо бы знать язык, на котором ты пишешь. Для меня это еще был и своеобразный способ преодолеть переживания, связанные с эмиграцией в подростковом возрасте. Каждый разбирается по-своему с этой нагрузкой на психику, я вот таким образом.

Когда я учился в университете, решил, что буду последовательно читать весь канон русской поэзии, вот такой план был, я себе даже что-то выписывал, какие-то конспекты вел. Через отделение славистики оформил курс, который сам себе и придумал. В американских университетах есть такая программа под названием «independent study», то есть самообучение. Ты выбираешь себе ментора из профессуры в том отделении, где оформляешь себе курс. Этот профессор подписывает какие-то там бумажки. А дальше ты учишься сам и фактически сам себе ставишь оценку. Вот это был мой единственный «официальный» курс русской литературы в Баффало. А так я просто всю жизнь стараюсь заполнять лакуны.

Вы даже грибы умеете собирать, на Мадагаскаре маслята находили и готовили. Среднестатистический американец точно этим не занимается и понятия не имеет о маслятах.

Не просто умею, а очень люблю собирать грибы. Я грибник, всю жизнь этим занимаюсь. Я все-таки не совсем американец. Конечно, все эти навыки и увлечения остались еще с московских времен, фундамент был заложен, пока жил там, но в Америке я собрал грибов уже гораздо больше. Русские маслята, кстати, не сильно отличаются.

Когда вы в первый раз побывали в России уже после отъезда?

Это было через шестнадцать лет после эмиграции, в 2006 году. Я поехал на литературный фестиваль в Питере. А вывез меня туда мой друг и наставник поэт Бахыт Кенжеев. «Поехали на фестиваль, — сказал он, — тебе давно пора в Россию». И в том же году я отправился в несколько странное путешествие по Сибири. Я потом даже написал рассказ-травелог об этой поездке. Он назывался «По Сибири с техасским рейнджером Энрике Иглесиасом».

Какие у вас остались воспоминания о московском детстве?

Очень подробные, в двух словах не рассказать. Мои воспоминания предметного характера. Это естественно, детская память вообще исключительно предметна. Есть такая замечательная израильская художница Зоя Черкасская, она удивительно работает со всем этим щемящим материалом детской памяти. Я отчетливо помню предметы быта, их названия и запахи, помню школьную атрибутику. И у меня совершенно минимальные воспоминания о географии города Москвы. Скажем, эмигрант более старшего возраста, возвращаясь, не узнает свои места. Это такая стандартная эмигрантская пластинка: в стране, где я жил, я теперь чувствую себя туристом, там все чужое.

А со мной вышло наоборот — я уехал настолько рано, что мне нечего не узнавать. Понятно, что октябрятских звездочек больше нет, разве что как сувениры, но всего остального большого мира вокруг для меня не существовало, мне не с чем его сейчас сравнивать, и у меня не возникает чувство, что это не мое, и я турист в своей родной стране. Наоборот, в Москве я странным образом чувствую

себя очень комфортно. Конечно, я там турист, иначе и быть не может, но я ожидал, что мне там все будет чуждо, а это не так.

Вы, кроме Москвы, еще где-то в России бывали?

Да, много где. В Воронеже, Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, в Бурятии, на Приполярном Урале... В былые годы, когда был моложе и спортивнее, я любил походы и экстремальные приключения.

Ваше первое образование литературное. Вы изучали английскую литературу и учились писать стихи?

Это была кафедра поэтики в университете Баффало, которую создали несколько корифеев американской литературы, ставших моими учителями: Роберт Крили, Чарльз Бернстин, Сьюзен Хау, Рэй Федерман, Деннис Тедлок. По-моему, сейчас эта кафедра уже в таком виде не существует, а тогда со всей страны туда стремились студенты, чтобы заниматься литературой и писательским мастерством. Кроме основного преподавательского состава, там все время были визитеры со всего света, и это тоже был вполне звездный состав. Мишель Деги, Айлин Майлз, из русских — Парщиков и Драгомощенко... Я поступил в несколько университетов, но выбрал Баффало, потому что там мне выделили стипендию, а у родителей, понятное дело, лишних денег не было. И, уже поступив туда, понял, что мне страшно повезло, и что я попал в уникальную среду.

Первые стихи писали на английском?

В школе в старших классах писал текстовки песен на английском, потому что играл в панк группе, в университете тоже сначала на английском стихи писал, потом на обоих языках, во Франции даже на французском что-то пытался сочинять, но это не представляет какой-то ценности. А потом я полностью перешел на русский.

Как вы попали в круг известных поэтов-эмигрантов старшего поколения? Многие из них написали прекрасные рецензии на ваши стихи, я знаю, что вы дружны с Алексеем Цветковым, Бахытом Кенжеевым, Владимиром Гандельсманом, Сергеем Гандлевским.

Это произошло давно. Я их всех прочел, когда учился в университете, во многом благодаря им и перешел на русский, они были кумирами юности. А потом я с ними познакомился, помню, что первым был Алексей Цветков: наверное, это случилось в 2000 году. А с Бахытом я познакомился в «Русском Самоваре», где он выступал, мой приятель подвел меня к нему и представил как молодого поэта, большого его поклонника. Я робел, не мог вымолвить ни слова, Бахыт мне написал на салфетке свой имейл и сказал: «Пришли мне свои стишки». Я ему что-то отправил, он ответил вполне доброжелательно, потом я его робко спросил, нель-

за ли нам встретиться на чашечку кофе, на что он ответил: «Мы, казахи, только водку признаем». С тех пор мы и дружим.

Можно, я в очередной раз вас спрошу, как вам, еще школьнику, позвонил Бродский?

Ой, не надо. Я уже столько раз это рассказывал, и в этом не было ничего серьезного. Я был маленький, еще в школе учился, послал ему нагло свои стихи на адрес колледжа, в котором он тогда преподавал, он очень любезно откликнулся, чего я совершенно даже и не ожидал: «Старик Державин нас заметил».

Вы никогда не ощущаете в себе некое раздвоение личности? Работа и все, что касается материального мира у вас на английском языке, а ваше творческое Я, ваш, так скажем, лирический герой говорит и думает на русском. Вы и Фейсбук свой ведете на русском.

Так и было задумано. Я этого сам хотел.

Нормально эти двое уживаются?

Отлично.

Многие эмигранты, прожившие, скажем, в Америке, даже меньшее количество лет, чем вы, быстро причисляют себя к американцам. Вы же, хотя у вас больше причин считать себя американцем, как будто все равно ощущаете себя эмигрантом.

Я не чувствую себя эмигрантом. Когда я принимаю пациентов в больнице, большинству из них и в голову не приходит, что я не американец. И они очень удивляются, когда узнают, что я родился где-то еще. При этом я, как видите, и русский не забыл окончательно. Мне кажется, что я не уникальный в этом смысле человек, а принадлежу к поколению людей новой формации, которые уехали из России в достаточно раннем возрасте, но при этом не потеряли связь с той страной. И, возможно, наш интерес к России, русской культуре, к тому, что там происходит, и готовность не утрачивать связь, объясняется именно тем, что мы уже все-таки не эмигранты. Наверное, на эту тему имело бы смысл поговорить или написать, я как-то пытаюсь это все время сформулировать.

Я всегда привожу в пример прекрасную Линор Горалик, которая уехала в Израиль приблизительно в том же возрасте, что и я, разница в том, что она вернулась в Москву и там жила, а я нет, или Кэрен Климовски, драматург и писатель, сейчас ее пьеса «Мой папа Питер Пэн» в Москве завоевала призы и до сих пор идет в «Сатириконе». Она тоже уехала из России в детском возрасте, жила в Израиле, Штатах, сейчас в Швеции. Есть небезызвестный рэпер Оксимирон, живший в Германии, получивший прекрасное образование в Англии и вернувшийся в Россию.

Я думаю, разница в том, что у человека, эмигрировавшего во взрослом возрасте, остается раздвоенное сознание, а у человека, который уехал ребенком, в этом смысле есть выбор переключаться полностью или нет, оставить какую-то связь или нет. В любом случае, это не раздвоение, а смешение. Точно так же как нейropsychологические исследования показали, что до определенного возраста все языки, которые человек учит, образуют нейронные связи в одной и той же части мозга, а потом уже в разных участках, поэтому после определенного возраста человек не может быть билингом. То же самое и со всем остальным, не только с языком. Поэтому раздвоенность «врач-писатель» я ощущаю, а раздвоенность «американец-русский» не чувствую, потому что я как бы гибридный вариант.

Вы знаете эмигрантов из самых разных стран и культур. Есть ли что-то общее у всех них? И вообще, эмиграция — это всегда немного про грусть или нет? Бывает ли эмигрант без ностальгии?

Общее, конечно, есть, я даже об этом пишу в книге «Вернись и возьми». Встречая эмигрантов из других стран, ты автоматически хочешь найти общие точки отсчета, которые бы вас роднили, иногда их ищешь не там, где они есть, они оказываются иллюзорные, но они безусловно есть. В принципе, одному эмигранту легче найти общий язык с другим, даже если они из разных частей света.

Мир меняется, и у людей появилась возможность запросто пересекать границы, если уж человек совсем истосковался по русским березкам, можно поехать и обнять их. Ностальгия предполагает, что какая-то географическая точка навсегда осталась в прошлом, туда не вернуться. В общем-то, в прошлое нельзя попасть в любом случае, даже если человек не переехал из одного места в другое. Ностальгия по прошлому не привязана к географии, ты можешь ностальгировать по своему советскому детству, но это именно ностальгия по детству, а не по месту. Вернешься, откуда уехал, но детства там тоже нет.

Вы когда перестали писать стихи?

Лет пять назад фокус сместился в сторону прозы, но я все же иногда и сейчас пишу стихи. Просто очень мало. Мало пишу и еще меньше показываю.

Это как-то связано с вашей врачебной карьерой?

Во-первых, когда я сочиняю, я для себя окончательно не разделяю стихи и прозу, то есть, я их пишу очень по-разному, но и то, и другое — часть писательского процесса. Связано с моей работой это в том смысле, что график жизни у меня больше предрасположен к тому, чтобы писать урывками, и прозу я так писать умею, а стихи — нет. А во-вторых, то, как и о чем мне хочется писать на данный момент, больше подходит под прозу.

Поэты много пишут о смерти, и это все-таки зачастую окрашено в романтические тона. Вы, как врач, часто видите смерть в повседневной жизни, и тут, наверное, уже не до поэзии. Вы просто сами сказали, что «в юности

умирали в своих виршах, а сейчас стараетесь не распускать язык», я вот что имею ввиду.

Это, конечно, еще и с возрастом связано, но да, работа такая, что все время сталкиваешься со смертью. У Гандлевского, одного из моих любимых поэтов, есть замечательные стихи:

*Молодость ходит со смертью в обнимку,
Ловит ушанкой небесную дымку,
Мышцу сердечную рвет впопыхах.
Взрослая жизнь кое-как научилась
Нервы беречь, говорить наловчилась
Прямолинейною прозой в стихах*

Почему вы все-таки решили стать врачом? Я знаю, что ваша бабушка была педиатром, но вам реально в детстве хотелось лечить людей?

В детстве я хотел стать историком, интересовался античностью. Врачом хотелось стать абстрактно, начиная где-то с позднего подросткового возраста, и очень сильно захотелось им стать, когда я уже начал учиться в мединституте. Нет, серьезно, потому что ты же не понимаешь, что это такое, пока на практике не узнаешь. Конечно, у тебя есть похвальные мечты помогать людям, но только потом, когда проходишь клиническую практику, начинаешь что-то делать, у тебя получается или не получается, дается малой или большой кровью, но так или иначе это наполняет твою жизнь смыслом. В этом отношении, конечно, человеку, работающему врачом, повезло: экзистенциальный кризис, который всех рано или поздно настигает, проходит менее болезненно. Потому что, задавшись вопросом «а не трачу ли я свою жизнь впустую?», ты можешь опереться хотя бы на свою профессиональную деятельность, про которую точно можно сказать, что она не бесполезна. Это большое счастье и большая честь — лечить людей.

Вы сразу выбрали для себя онкологию как направление в медицине?

Да, из тех же соображений, на самом деле. Чтобы в самое пекло пойти. Врач должен быть там, где он нужнее, а понятно, что онкобольной сам с бедой не справится. Кстати, по тем же причинам я и в Африку езжу.

А детской онкологией вы временно занимались?

Это и сейчас одна из моих специальностей. Я занимаюсь лучевой терапией, это уже достаточно узкая специализация, но поскольку я работаю при академическом центре, там есть еще более узкая направленность, я занимаюсь лучевой терапией рака молочной железы, раковых заболеваний желудочно-кишечного тракта и детской онкологией.

За те годы, что вы занимаетесь онкологией, сильно ли медицина продвинулась в лечении рака?

Сильно. Во-первых, появилась иммунотерапия, это действительно прорыв, за последние годы медицина вообще, а особенно онкология, сделала огромный скачок за счет молекулярной биологии и иммунологии. Наше понимание онкогенетических процессов не сравнить с тем, что было еще лет пятнадцать назад, и таргетных препаратов, которые сейчас прописывают, стало в разы больше.

Как вы снимаете стресс?

В спортзал хожу, это помогает. Со своими детьми играю.

А сочинительство не играет роль текстотерапии?

Это не способ снятия стресса. Потому что процесс сочинительства одновременно приятный и мучительный, ты в это уходишь с головой, а когда из него вынырываешь, ощущаешь себя изможденным, так что, это не совсем терапия. Что же касается отпуска и снятия стресса, мне активный отдых помогает лучше всего. Валяние на пляже не очень.

Как можно верить в Бога и быть человеком науки, врачом? В вашей книге вы упомянули, что на разных научных конференциях есть огромное количество религиозных людей.

Мне кажется, одно другому не противоречит. Вера — это абсурд, если бы она была не абсурдна, а логична, то она не была бы верой. Это нам еще Тертуллиан сказал. И Кант в своей «Критике чистого разума» расчищает место для веры, доказав несостоятельность всех логических аргументов в пользу бытия божия. Ни онтологическое доказательство, которое придумал Ансельм Кентерберийский, ни космологическое, которое придумал Аристотель, ни даже телеологическое не выдерживают критики. Остается только чистая вера. *Credo quia absurdum*.

Вот этот вопрос, который мы часто задаем мысленно и Богу, и верующим, и сами себе, вы его озвучили в книге: «Зачем Он создал опухоль, от которой умирают дети?» Вы для себя на этот вопрос ответили?

Мне кажется, что в этом смысле то, чем занимаюсь я, как раз и может подвинуть человека к вере. Потому что ты с этим сталкиваешься все время, и этот вопрос просто нельзя себе не задавать, он постоянно у тебя в голове. И тогда у тебя есть выбор: либо ты на все машешь рукой и говоришь, что все бессмысленно, нет ни Бога, ни черта, либо ты как-то выбираешь веру, но это в общем, такое пари Паскаля. Если выбрать полный абсурд и мрак, то сложно даже дальше существовать, а уж тем более заниматься онкологией, особенно детской онкологией. Иногда вера оказывается и «умением прощать Аллаху», как я пишу в «Нью-Йоркском обходе». Вопрос теодицеи неизбежен. И все-таки, если вы побываете на нашей ежегодной конференции врачей-онкологов, то увидите огромное количество набожных людей, вера им не мешает, а наоборот, в ней есть необходимость.

Вы полагаете, что врач не может быть сильно вовлечен в судьбу пациента, но и не может быть безучастен к ней. Нужна золотая середина. Вам трудно дается этот баланс?

Конечно, бывает, что я сильно увлекаюсь. Умение дистанцироваться — это профессиональный навык. Все, что я могу сказать, лежит на поверхности: если для тебя уже проблематично испытывать сострадание, значит, ты не должен работать врачом. А если ты излишне вовлечен, это не так страшно, это вопрос опыта. Выдержке волей-неволей приходится учиться.

Вы за все эти годы испытывали когда-нибудь разочарование в профессии?

В самой профессии — нет. Мне не нравится, как в данный момент работает наша система здравоохранения, в этом смысле — сплошное разочарование. Но с профессией врача это не связано. Конечно, есть очень много стресса, бессонных ночей, когда боишься, что допустил ошибку, но бросить работу совсем никогда не хотелось.

А есть ли какие-то общие черты у больных из одной и той же страны, то, как они переносят свои болезни? Скажем, латиноамериканцы более оптимистичны, а русские наоборот?

На самом деле, в какой-то момент переживания на грани смерти у всех одинаковые, все культурные различия исчезают. «Смерть Ивана Ильича» — универсальное произведение, доступное и американским читателям, и африканским. Естественно, есть всякие культурные нюансы. У кого-то принято вообще ничего не рассказывать больному о диагнозе. Вот был на моем опыте такой случай. Мы лечили пациента с Ближнего Востока, это был сильно пожилой человек, вся его семья находилась при нем, у них вообще крепкие семейные узы, и все они настаивали на том, что ни в коем случае нельзя ему говорить, что он болен раком, ему удалили половину лица, но родственники ему говорили, что это инфекция, и нас просили делать то же самое. А еще все это происходило через переводчицу. И вот в какой-то момент он ее подзывает и что-то ей на ухо шепчет. Потом я у нее спрашиваю, что случилось, и она передает мне его слова: «Я знаю, что у меня рак, а не инфекция, но только, пожалуйста, не говорите об этом моей семье».

А люди верующие, религиозные более стойчески переносят свой диагноз и страдания?

По-разному. Иногда возникают интересные моменты. В одном из госпиталей, где я работал, было много хасидских евреев. Помню вот такую историю. Человек после обширного инсульта был в реанимации подключен к аппарату искусственного дыхания, никакой мозговой активности уже не было, то есть он находился в вегетативном состоянии, из которого не возвращаются. Дальше встал обычный вопрос, отключать его или продолжать держать на аппаратах. Его хасидская родня не могла, конечно, решиться на то, чтобы лишить человека жизни.

Для этих случаев в госпитале есть раввин, мы вызвали его, состоялась дискуссия, в которой участвовали мы, медики, семья и раввин. Раввин рассказал, что был случай, когда один великий цадик умирал, его ученики молились за его здоровье, и душа его все никак не отлетала, и наконец на рассвете он сказал ученикам: «Перестаньте молиться, дайте моей душе отлететь.» Таким образом раввин убедил семью согласиться отключить ИВЛ.

Скажем, есть два человека с совершенно одинаковыми диагнозами и одинаковой схемой лечения. Но один из них оптимист, верит, что выздоровеет, другой пребывает в унынии и сдался. Действительно ли у первого больше шансов выздороветь? Так ли важна в этом психосоматика?

Вообще, онкопсихология — важная область, которая еще мало изучена, ей предстоит развиваться. Пока она в зачаточном состоянии. Мы все больше начинаем понимать ее важность. Конечно, здоровому человеку легко сказать, обращаясь к больному: «Не унывай. У тебя рак, но ты держись». Тяжело сохранять бодрость духа, когда тебе поставили такой диагноз. Но мы знаем, что вообще психика влияет на общее состояние человека, а в онкологии есть такое важное понятие, как *performance status*. Это общее состояние, в котором человек находится, то, насколько крепок его организм. Это, в свою очередь, очень сильно влияет на прогноз. Даже когда принимается решение насчет лечения, зачастую в первую очередь учитывается именно этот показатель. И это совокупность и физического, и эмоционального состояния.

И наоборот, насколько психосоматика влияет на нашу подверженность болезням? Многие ведь считают, что тот же рак послан им как испытание, как урок или даже наказание за неправильные мысли, позитивный настрой и так далее.

Это все чушь, хотя и понятный психологический ход, человек хочет создать себе защитный механизм, но это так не работает. Понятно, что полно окружающих факторов, которые влияют на заболевания, если ты куришь по две пачки в день, употребляешь много алкоголя, мало двигаешься, то скорее всего, ты не слишком хорошо предотвращаешь риск заболеть, но есть и полно примеров, когда люди старались и вели здоровый образ жизни, но заболели. Конечно, можно все списать на генетическую предрасположенность, она тоже важна, но надо по возможности вести здоровый образ жизни, это еще никому не мешало, хотя и заикливаться на этом не стоит.

Но я даже не столько здоровый образ жизни имела ввиду, сколько позитивный и негативный настрой к жизни.

Опять же, с одной стороны, естественно, психологическое состояние влияет на физическое: человек, подверженный сильной депрессии, вряд ли будет здоров.

С другой стороны, есть знахари, которые проповедуют, что вся онкология возникает от избытка негатива и так далее — это все чушь собачья, конечно.

Как вам кажется, люди до конца осознают, что они смертны? Ведь как можно поверить в то, что никогда не испытывал, если у тебя не было такого предыдущего опыта?

Ну это вот то, что Эпикур еще написал, а вслед за ним Лукреций: Не бойся смерти: пока ты жив — ее нет, когда она придет, тебя не будет. Я думаю, любой человек в какой-то момент вступает в пору смертности, когда начинает об этом думать. Не обязательно на закате дней, условно говоря, это и есть тот самый экзистенциальный кризис среднего возраста.

Но именно онкобольные, знающие, что умрут, они, вы думаете, чувствуют свой конец?

Во-первых, не все умирают, многие онкологические болезни вылечиваются. Больные, у которых болезнь излечима, слыша диагноз и мало что об этом зная, сразу впадают в панику и решают, что это конец. В мои профессиональные обязанности входит необходимость разъяснить им, что они еще будут жить. Как в том анекдоте: и не надейтесь!

Другой вопрос, когда человек действительно уже умирает, чувствует ли он это. Я об этом писал в «Обходе», я думаю, что чувствует.

Вы действительно полагаете, что, цитируя Достоевского, самое бесчеловечное — объявить человеку его срок?

Да, я так считаю. Пациентам, конечно, не надо врать. Но мне кажется и не надо, как часто делают в США, впадать в другую крайность: когда ты автоматически считаешь, что любой человек хочет и готов знать, сколько ему точно осталось. Этого, во-первых, никто не знает, есть статистика, которая может звучать как: пятилетняя выживаемость при таком-то заболевании — порядка сорока процентов. Или: средняя выживаемость — двенадцать месяцев. Но это же цифры, взятые в среднем по всем больным. Поэтому, с одной стороны, никто точно не знает, с другой стороны, необязательно человек это хочет знать. Я так и поступаю со своими пациентами: говорю им, только если они спрашивают. И тут же объясняю, что вообще-то эта статистика сродни средней температуре по больнице, хотя какое-то общее представление о том, насколько агрессивно то или иное раковое заболевание, она нам, конечно дает.

Помните самую первую смерть, случившуюся в вашей практике? Кто это был, почему умер?

Когда я проходил ординатуру и дежурил в реанимации, умерла очень молодая девушка от цирроза печени. И меня тогда позвали освидетельствовать ее смерть. Но поторопились: она была еще жива, хотя оставалось уже совсем недолго.

го. Медсестра сказала, что ей страшно находиться при этом одной и попросила подождать в палате вместе с ней. И мы сидели там, пока девушка умирала, ждали.

Можете свои ощущения описать?

Ничего приятного.

Тряслись руки? Вышел покурить? Не мог уснуть потом? Надо было выпить?

Ну да. Все это.

А как вы преодолеваете свой личный страх смерти?

Никак не преодолеваю. Так же, как человек встает с утра: он не выспался, устал, но ему надо идти на работу, как он преодолевает это нежелание? Собирается и идет.

Правда, что во время операции хирурги включают музыку?

Часто, да. Я и сам это люблю. В моей области больших операций нет, но есть инвазивные процедуры, то, что называется общим термином «брахитерапия». Когда я этим занимаюсь, то включаю музыку.

Я еще вычитала в вашей книге, что врачи должны пройти курс самообороны?

Это просто специфика Южного Бронкса.

Хирургов в Америке проверяют на алкоголь и наркотики непосредственно перед операцией?

В обязательном порядке не проверяют перед каждой операцией, но понятно, что если ты попадешься, последует увольнение.

Почему у американских хирургов такой нечеловеческий режим работы? Я сама лично помню женщину-хирурга, которая готовилась к срочной операции для моей дочери, и выглядела так, словно ей давно пора полежать у моря, а не стоять со скальпелем. Ведь это же даже небезопасно для пациентов.

Хороший вопрос. Это сама по себе очень изматывающая профессия, но такой там режим работы. Я поэтому в хирургию не пошел. Бывает, что я работаю по двенадцать часов, но не в постоянном режиме.

Можете мне немного разъяснить смысл последней главы в «Нью-Йоркском обходе», где вы поехали в Индию в командировку и заодно с желанием глубже понять индийскую философию, религию. Вы там и в ашраме жили, и йогой, и медитацией занимались. Мне показалось, вы не были сильно впечатлены, вернее, не нашли ответы на свои вопросы.

Почему же? Я как раз был впечатлен. Достаточно, чтобы об этом написать. Я хотел попытаться ответить самому себе на вопрос о совместимости веры и работы врачом, о чем мы с вами уже немножко беседовали. Это единственная глава, которая вся об этом. И мне лично всегда хотелось глубже окунуться в восточную философию. Я долгие годы читал и изучал философию западную, и мне было интересно узнать, а как там с теми же вопросами обстоит на другой стороне света. Если бы я в свое время учил основы религии, если бы получил, к примеру, иудейское воспитание, быть может, мне бы сейчас все это не понадобилось, но я его не получил. И потому я всю жизнь что-то такое ищу. Понятно, что индийская философия не даст исчерпывающих ответов на вопросы бытия, и никакая не даст, но это, в общем, и не является целью, наивно полагать, что получишь окончательные ответы. Но философия предлагает некий инструментарий, необходимый для того, чтобы хотя бы четко формулировать сами вопросы. И это уже много.

Вы не хотите, чтобы книга «Нью-Йоркский обход» воспринималась как записки врача. Вы что-то намеренно делали, чтобы выйти за границы жанра или это произошло натуральным образом? Вы приводили в пример «Колымские рассказы» любимого вами Шаламова, который писал о страшном опыте своей лагерной жизни отстраненным языком. Вы тоже стремились к этому?

Ну это какие-то элементарные вещи. Мне кажется, о страшных вещах нужно писать самым нейтральным и скупым языком. Любое окрашивание создаст эмоциональный всплеск и будет только в ущерб.

С кем бы из писателей вы сравнили жанр, в котором пишете? Вот критики любят проводить параллели с Булгаковым, Чеховым, Вересаевым, просто потому, что они тоже были медики, ставшие писателями.

Мне бы хотелось верить, что я пишу, во всяком случае, стараюсь писать то, чего не было до этого. В том числе и в смысле жанра. Иначе зачем писать? Я сам обозвал это смесью травелога с мемуаром на фоне медицинской тематики. Ну вот Лидия Гинзбург, как известно, придумала такой термин «промежуточная литература». Под эту категорию много чего попадает, по-видимому, я тоже. И меня это устраивает.

Вы не хотите написать фикшн? И будет ли там медицинская тема?

Планирую, да. Совсем не на медицинскую тему. Ну сколько можно?

Ваша цитата: «Возможно, все мои последующие переезды, путешествия за тридцать земель, вся эта гумилевщина — способ превозмочь единственную, раннюю тоску по дому». Можете мне объяснить? Разве чем больше ты путешествуешь, тем меньше тоска?

На самом деле, когда мы с вами говорили про ностальгию, я сказал, что ситуация изменилась, любой сейчас может свободно перемещаться и возвращать-



С коллегами из онкологического отделения госпиталя Кениаты

ся туда, откуда уехал. Но это так на сегодняшний день. Когда я уехал, мне было одиннадцать лет, я, конечно, очень тосковал, мне было тяжело. Сейчас, особенно в американской литературе, стал уже настолько шаблонным разговор об изживании детских травм, что уже как-то неловко даже об этом говорить, это стало таким пошлым клише, но безусловно, в этом изначально есть своя правда. И то, что я так старался сохранить русский язык, конечно, с этим связано.

Да, но как частые путешествия помогают изжить тоску? Может, наоборот, должно быть желание свить гнездо?

Нет, есть такой странный момент психологический (не знаю, может, он есть только у меня), заключающийся в том, что для меня опыт эмиграции изначально был очень болезненным, и, как ни странно, мне хочется его все время повторить. Не забыть, а заново прожить, но уже имея некий контроль над ситуацией.

Все время куда-то тянет до сих пор?

Да, хотя в последнее время это сложнее осуществлять, потому что есть маленькие дети.

Сколько лет вы прожили в Африке?

Я жил только в Гане, это опыт, на основе которого я написал «Вернись и возьми». А после этого уже не жил, а бывал часто и работал в разных странах: на

Мадагаскаре, в Кении и в других местах. В общей сложности, я побывал где-то в двадцати африканских странах.

Расскажите, в каких условиях вы там жили?

Смотря где. В Гане я жил в доме для медиков-волонтеров, у меня там была комната, в которой стояли кровать, тумбочка, вентилятор. В хижине я никогда не жил. Когда гостил у друзей, например, то все-таки спал на каком-то матрасе, хотя и без кровати, африканцы умеют на земле без подушки спать, а я нет. В общем, были относительно спартанские условия, но не ужас-ужас. В Гане я работал терапевтом, занимался общим врачеванием, а сейчас уже езжу в Африку как онколог. А лучевая терапия, понятное дело, применяется только в крупных госпиталях, где есть специальное оборудование, а такие госпитали есть только в столицах, как правило. Поэтому я в последнее время живу в гостиницах в больших городах. Впрочем, я всякий раз стараюсь и выезжать из города, путешествовать. Вот в прошлом году мы с женой сплавлялись на плотах по реке Замбези. Историей об этом сплаве заканчивается «Африканская книга».

Когда и почему вдруг у вас возникла страсть к Африке?

Когда я в Гану попал. До этого я работал в городе Бриджпорте в штате Коннектикут, там в госпитале было много выходцев из Ганы.

А вы изучали африканскую литературу еще в университете?

Африканская литература меня интересовала еще задолго до того, как я попал в африканскую среду. В университете у меня был курс по африканской литературе, который читал профессор из Нигерии, уже не помню, как я его назвал в книге, я реальные имена меняю, а настоящее его имя называть не буду. Он был замечательный преподаватель, друг нигерийского писателя-нобелиата Воле Шойинка. Этот профессор меня и познакомил с африканской литературой.

Вы один африканский язык знаете?

Я учил три языка: ашанти-чви, малагасийский и суахили.

А переводы делаете с одного?

Да, с чви. Переводил десять лет назад. С тех пор я, увы, уже подзабыл язык, так как в Америке им не пользуюсь.

Николай Гумилев не был вашим кумиром? Поэт, учился в Сорбонне, тоже любил Африку и бывал в ней.

Нет. У Гумилева, кстати, во многих его стихах, в основном, Африка выдуманная. Если почитать их, сложится впечатление, что он побывал на всей материке, от Гвинеи до озера Чад, которое уже высохло, как мы знаем, и видел все, от конголезских лесов до мадагаскарских лемуров. Это все — его воображение. На самом



Экскурсия школьников в музей под открытым небом БОМАС в Найроби

деле, как я понимаю, он бывал лишь в странах Африканского Рога, в Джибути, Эфиопии.

В Африке, как мы все знаем из вашей книги, любят пословицы. Какая у вас самая любимая?

В связи с нынешней геополитической ситуацией, все время вспоминается вот эта: «Когда дерутся слоны, страдает, в первую очередь, трава у них под ногами».

Понятно, что вы написали большую книгу про Африку, описав ее во всех ипостасях, и кратко ответить будет сложно, но все же, можно я вас спрошу, чем она вас так потрясла, и что в ней такого, что она так цепляет и не отпускает?

Этот вопрос мне задают все, и я каждый раз теряюсь, потому что в двух словах эти чувства не опишешь. В Африке просто не загроможденный горизонт ожиданий. Мы про Африку априори гораздо меньше знаем, чем про все остальное, и поэтому там проще в том смысле, что все, что ты видишь, живее воспринимается, оно не накладывается на сетку твоих знаний и предубеждений.

Что там было самое страшное?

Нищета, конечно. Особенно нищие дети. Видеть, как они уже лет в пять как-то пытаются заработать на жизнь — вот это самое страшное.

А заболеть, заразиться там чем-то не было страшно?

Я болел в Африке. В первую очередь, у меня была амебная дизентерия, от которой долго не мог оправиться, потом малярией болел. Болезни там страшные есть, конечно, с другой стороны, страшные болезни везде есть.

Когда вы были в Африке последний раз?

Полгода назад. Ездил в Намибию, Ботсвану, Зимбабве и Замбию. Путешествовал там, встречался с тамошними врачами. У меня есть задача: организовать стажировку для африканских врачей-онкологов в Америке, я последние два или три года много занимаюсь этим проектом. Летом снова планирую туда поехать.

«Здесь, как нигде, сохраняется ощущение, что все еще возможно, включая душещипательную финальную сцену из любимого детского фильма «Мэри Поппинс, до свидания» — встречу с прежним собой», — так вы написали в конце «Африканской книги». Мне просто интересно, вы из тех, кто все время хочет возвращаться в прошлое? Почему вам так хочется встретиться с прежним собой?

Думаю, этого всем хочется. Но вообще, чем человек становится старше, тем он меньше запоминает, и больше вспоминает.

«Если что и хотелось бы удержать в памяти, это лица и голоса людей. Для всего остального есть Википедия». В то же время, в вашей «Африканской книге» очень много исторических, филологических, этнографических и других фактов. В этом нет противоречия себе?

Когда ты пишешь книгу, ты как бы отпускаешь то, о чем пишешь. Писать — значит забывать. А забыть, как писал Михаил Гронас, значит начать быть. Я поместил все это в книгу, потому что в памяти все не удержишь, но мне все эти факты и не жаль потерять и забыть, потому что потом их можно посмотреть в Википедии или в собственной книге. Но мне самому все это, естественно, интересно, и потому хотелось вместить эти знания и в книгу, как в энциклопедию Африки во всей ее полноте, потому что она невероятная, сложная, разноплановая. Я до сих пор поражен, как мало об Африке известно людям за пределами материка. Когда-то я, живя в Гане, читал на каком-то форуме в интернете впечатления русских людей, побывавших в Западной Африке. Их там не очень много, но они есть. И путешественников не очень-то много, потому что весь туризм сосредоточен в Восточной Африке, где сафари и это вот все. А меня тогда приятель звал в Нигерию, и вот я решил немного о ней почитать, и натыкаюсь на какой-то форум, где одна русская девушка, не знаю, каким образом туда попавшая, пишет свой отчет о поездке. Отчет начинается с такой фразы: «И все-таки самое интересное в Нигерии не бананы, а ананасы». Вот мне и хотелось, чтобы в «Африканской книге» Африка предстала не только бананово-ананасовой.

Вы действительно считаете, что туристом ездить в Африку не следует, в Африку надо ехать тогда, если ты можешь там сделать что-то хорошее и полезное?

Это сложный вопрос. Я думаю, это зависит от того, в какую часть Африки вы едете. Там есть места, которые живут за счет туризма, когда ты едешь туда, ты как

бы помогаешь стране. Другое дело, что весь твой туристический опыт получает-ся очень шаблонным, фабричного производства, и ты на самом деле, ничего не видишь и не понимаешь.

Ну так можно сказать про любую страну.

В Африке — особенно. И это отчасти связано с колониальным багажом. Приезжая в Европу, ты все равно видишь города. В Африке — по-другому, ты приезжаешь на сафари, и больше нигде не бываешь. И не по каждому африканскому городу пойдешь спокойно гулять. И как я уже говорил, все исторические обстоятельства и все постколониальные реалии гораздо менее доступны, если едешь туда как турист. Но есть места, где нет никаких туристических достопримечательностей, и, конечно, ехать туда, чтобы просто глазеть на нищету, по-моему, неправильно.

Если бы вам пришлось выбрать между писательской и врачебной карьерой, что бы вы предпочли?

Я бы хотел сохранить эту раздвоенность.

Беседовала Ольга Смагаринская, специально для журнала «Этажи»

Нью-Йорк, февраль 2020

Фото из личного архива А. Стесина

Александр Стесин — прозаик, поэт, переводчик, кандидат медицинских наук. Работает врачом-онкологом в Нью-Йорке. Родился в Москве в 1978 году. С 1990 года проживает в США. Окончил литературный факультет университета Баффало, курсы по французской литературе в Сорбонне и медицинский факультет Корнелльского университета. Автор трех стихотворных сборников и пяти книг, лауреат международного литературного конкурса «Tamizdat» (2007), конкурса им. Гумилева «Заблудившийся трамвай» (2007), дипломант премии «Московский счёт» («Лучшие книги года») за сборник стихов «Часы приема» (2011), финалист российско-итальянской поэтической премии «Белла» (2014), лауреат «Русской премии» за книгу «Вернись и возьми» (2014), лауреат премии «Новая словесность» (2019) за книгу «Нью-Йоркский обход». Куратор серии литературных вечеров в Нью-Йорке «Трилогия», член редакции журнала «Интерпоэзия». В 2010 г. жил в Гане, где работал врачом под началом международной благотворительной организации. О своей работе врачом в Гане Стесин написал повесть «Вернись и возьми».

Ольга Смагаринская. Окончила факультет журналистики МГУ. Публикуется в Elle Russia, Elegant New York, Ballet Insider, RUNYweb.com, «Этажи», «Музыкальные сезоны». Лауреат премии литературно-художественного журнала «Этажи» в номинации «Лучшее интервью 2017 года». В составе двух других журналистских работ, интервью Ольги принесло победу (1 место) журналу «Этажи» в X Всероссийском журналистском конкурсе «Многоликая Россия-2017» в номинации «Цикл публикаций в Интернет-СМИ». Лауреат премии «Алмазный Дюк» Международного конкурса им. Де Ришелье 2018. Редактор рубрики «Главный жанр» в журнале «Этажи». Живет в Нью-Йорке.